

01:14



Р.Е. Тард

Роман Тард

01:14

«Автор»

2026

Тард Р. Е.

01:14 / Р. Е. Тард — «Автор», 2026

Ночь на 4 июня 1989 года. Скорый идёт под уклон, в низину под Ашой, где его уже ждёт — невидимое, тяжёлое, разлитое по самой земле. Через полтора часа здесь погибнут пятьсот семьдесят пять человек. Кирилл Ремезов, следователь по авариям, знает об этом всё: минуту взрыва, цепочку роковых решений, имена жертв. Знает — потому что тридцать семь лет разбирал эту катастрофу по бумагам. И потому что этой ночью он снова в ней очутился. Петля бросает его в чужое тело в том самом поезде — круг за кругом. У него есть точное знание, время и сотая попытка. Нет одного — способа заставить хоть кого-нибудь поверить, пока не поздно. Пять запертых дверей, пять чужих правот, из которых складывается одна общая беда. И мальчишка Сашка с верхней полки, который первый раз в жизни едет к морю. Знание может быть абсолютным — и всё равно бессильным. А спасение иногда стоит дороже самой катастрофы. Тёмный техно-триллер о человеке, который знал минуту.

© Тард Р. Е., 2026

© Автор, 2026

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Глава 1 | 5 |
| Глава 2 | 9 |
| Глава 3 | 12 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 16 |

Роман Тард

01:14

Глава 1

Обелиск поставили на повороте, там, где насыпь делает пологую дугу и нехотя уходит к Улу-Теляку, и каждый год в одну и ту же ночь я приезжал сюда последним поездом до Аши. Дальше — пешком, по тёмной обочине, к тому часу, ради которого приезжал. Серый камень был расколот книзу на два крыла — будто тот, кто его ставил, хотел сломать пополам, да в последний момент придержал руку. Я каждый раз сначала находил глазами этот разлом и только потом — имена; имена я знал и без камня, но смотреть на них сразу было нельзя, к ним надо было подходить медленно, как подходят к воде, которую боятся. Ночь стояла тёплая и без ветра, и это я отметил отдельно, профессионально, прежде чем успел себя одёрнуть: в ту ночь, тридцать семь лет назад, тоже не было ветра, и в этом было всё дело. Газ, который тогда вытек из трубы и пополз по низине, тяжелее воздуха; в ветер его разнесло бы над лесом — и не было бы ни этого камня, ни длинного списка на нём, ни меня здесь, в темноте, с пакетом гвоздик, которые я держал головками вниз, как держат, когда спешить уже некуда и незачем. Я разбираю аварии. Не предотвращаю, не сигналию заранее, не спасаю — я прихожу после, когда всё уже сгорело и стынет, и моя работа в том, чтобы понять, в каком месте система решила убить людей и почему те, кто стоял в ту минуту у рычагов, ей в этом помогли. У нас это называется аккуратно — человеческий фактор. Будто фактор, а не человек, который в три часа ночи, не выпавшийся, напуганный ответственностью, выбрал из двух кнопок не ту. На третьей плите снизу, четвёртой по счёту слева, стояло: «Ремезова Галина, 10 лет». Сестра моего отца. Ей было десять, она ехала к морю в чужом прицепном вагоне, с пионерским отрядом, и я её не знал — меня тогда ещё не было на свете. Отец о ней не говорил никогда; один раз, крепко выпив на чьих-то поминках, он сказал только: «Галка боялась поездов», — и больше не сказал ничего, ни в тот вечер, ни после, до самой своей смерти. Мстить тут было некому. Я просто стал разбирать аварии. Я присел на корточки и положил гвоздики под её строку. Камень за длинный июньский день нагрелся и теперь отдавал тепло обратно в ночь — ровно, неспешно, как отдаёт всякая тяжёлая вещь, которой некуда торопиться. Это дело в меня вбили намертво, как вбивают таблицу умножения: трещина в трубе; роковая команда поднять подачу, чтобы вернуть стрелку на место, вместо того чтобы искать утечку; облако в низине длиной почти в два километра, которого никто не увидел, потому что увидеть его было нельзя; два поезда, опоздавшие ровно настолько, чтобы сойтись здесь, в самой нижней точке, в одну и ту же минуту. Я мог рассказать это с любого места — и меня будили, и я рассказывал, и от того, что рассказывал гладко, легче не становилось никому, и мне в первую очередь. Я прикрыл глаза. В голове, как всегда на этом месте, сам собой пошёл отсчёт — час четырнадцать, — я знал эту минуту наизусть и ненавидел за то, что знал. Тепло под ладонью вдруг сделалось не каменным. * * * Я открыл глаза от тряски. Не от своей — меня трясло вместе с чем-то большим, ровным, железным. Подо мной была вторая полка, узкая, застеленная влажноватой простыней, и простыня пахла хлоркой и чужим телом. Колёса под полом считали стыки: та-там, та-там. В торце вагона глухо побулькивал титан. Где-то впереди сипел во сне ребёнок. Я сел и ударился затылком о багажную полку. Руки были чужие. Я смотрел на них в синем ночном свете дежурной лампы и не узнавал: они были шире моих, с обкусанным ногтем на большом пальце, с дешёвыми часами на растянутом ремешке. Стрелки показывали без двадцати двенадцать. Я не понимал, чьи это часы и почему они у меня на запястье. Внизу, на боковом столике, лежал билет — картонный, твёрдый, с пробитыми по краю дырочками. Я взял его, и пальцы сделали это сами,

привычно, будто всю жизнь брали именно эту картонку с этого самого столика. Поезд двести одиннадцатый. Новосибирск — Адлер. Вагон восьмой, место сорок три. Я держал билет, и он был настоящий — с типографским заусенцем по краю, с краской, которая в моё время уже не пачкает пальцы. И запах был настоящий: уголь, мокрое железо, чьи-то ноги, спитой чай. Так не пахнет ни один музей, ни одна реконструкция, ни один фильм. Так пахло то, чего давно нет. Расследователь во мне включился раньше человека — он всегда включается первым, это удобно и подло. Он сложил вместе билет, и поезд, идущий на юг, и ночь, и не дожидаясь меня выдал ответ спокойно, как выдают на разборе перед комиссией: ты в двести одиннадцатом. Ночь на четвёртое июня — по Москве ещё треть. Скоро Аша. За Ашой — низина. Человек догнал его на секунду позже. Зубы сами нашли обкусанный ноготь на большом пальце — чужая привычка, которой я не успел помешать. Этот перегон я знал по схемам и выцветшим снимкам из дела; потом обошёл пешком — по новой траве, по чистым шпалам, со складным метром и блокнотом. Я никогда не думал, что увижу его до. Изнутри. С живыми за фанерными перегородками, со спящими детьми на верхних полках, с чаем в подстаканниках. Последнее я не пускал в голову, сколько мог. Чужие пальцы сами стиснули картонку — билет хрустнул. Где-то там, впереди, через несколько вагонов, в прицепном, с пионерским отрядом, ехала сейчас десятилетняя девочка, которой я тридцать семь лет приносил гвоздики. Галина Ремезова. Она была жива. Прямо в эту минуту она дышала, ворочалась на жёсткой полке, ехала к морю. И на всём этом поезде я был единственным, кто знал, что ей оставалось часа полтора. Я заставил себя посмотреть в проход. Вагон спал. На нижних полках темнели взрослые, на верхних, поменьше, — дети. У окна напротив сидел, привалившись виском к стеклу, подросток лет шестнадцати — долговязый, не доросший ещё до собственных рук; рядом, в проходе, стояла спортивная сумка, и из неё торчала обмотанная синей изолентой рукоятка клюшки. Он не спал. Чертил пальцем по запотевшему низу окна и смотрел в черноту. Поймал мой взгляд — не отвёл. — Не спится, дядь? — сказал он тихо, чтобы не будить вагон. — Душно. Сейчас Аша, постоим — продует. Я открыл рот и не нашёл, что ответить. В голове у меня стучала одна цифра, и это было не «без двадцати двенадцать». Это было — час четырнадцать. — Сколько до Аши? — спросил я. Голос вышел чужой, ниже моего. Он пожал плечами. — Минут двадцать. Опоздываем маленько. — И снова отвернулся к стеклу, дочерчивать своё. Минут двадцать до Аши. За Ашой — одиннадцать километров до места, где меня каждый год ждал серый расколотый камень. Я сложил это в уме и получил полтора часа. * * * Я встал. Чужое тело, тяжёлое и непривычное, послушалось сразу — как будто давно ждало кого-то другого. Я пошёл по проходу к голове состава, держась за поручни верхних полок. Дойти до проводника, до бригады, до того, кто способен остановить поезд. И — что сказать? Что часа через полтора в низине за Ашой взорвётся газ, потому что в трубе за тридцать километров отсюда трещина, а дежурный на перекачке поднял подачу? Кто я такой, чтобы это знать. Мужик с верхней полки, без двадцати двенадцать, душно, не спится. В тамбуре было холоднее и громче. Проводница сидела на откидном стуле у служебного купе, в форменном кителе, и под лампой считала пачку постельных квитанций. Немолодая, с тем лицом, какое к ночи делается глуше. — Послушайте, — сказал я. — Мне нужно к машинисту. Это очень важно. Она подняла глаза и смерила меня всего — от чужих часов до босых ног. — Мужчина, ночь на дворе. Какой машинист. Идите ложитесь. — Поезд нельзя пускать за Ашу. Там, под насыпью, газ. Его не видно. Он скопился в низине, и встречный — Газ, — повторила она, и квитанции легли на колени. Она потянула носом — коротко, по-служебному, — и на один вздох в тамбуре стало очень тихо. Потом взгляд съехал на босые ноги. — Ясно. Сколько выпили? — Я не пил. — Все не пили. — Она сгребла квитанции, как будто это я их рассыпал, поднялась и перегородила собой проход — сразу шире и тяжелее, чем сидела. — Идите на место. Разбудите вагон — ссажу в Аше, под протокол. У меня дети едут. Мне ваших разговоров не надо. За её спиной, в окне служебной двери, бежала чёрная стена леса. Где-то там, впереди и правее, в темноте, уже стелилась по низине двухкилометровая полоса

— тяжёлая, почти без запаха, — и встречный двести двенадцатый уже шёл ей навстречу из-под Уфы, опаздывая ровно настолько, насколько было нужно, чтобы всё сошлось. Я смотрел на эту женщину и понимал, что она права. Что я бы и сам не поверил. Что за час чужое доверие не покупается ничем, а доказательств у меня — память, которой здесь, в этой ночи, ещё нет и не будет тридцать семь лет. Поезд качнуло на стрелке. Колёса застучали чаще, мельче. Свет в тамбуре мигнул. — Аша, — сказала проводница уже спокойнее, почти про себя. — Стоянка две минуты. И, не глядя на меня: — Идите. На. Место. На место я не пошёл. Стоп-кран был тут же, над дверью, — рукоятка под пломбой, рукой подать. Я потянулся — и рука встала сама, на цифрах из моего же отчёта. Сорванный кран — это стоянка и разбирательство, а после поезд всё равно уйдёт, с новым опозданием, которого я уже не знаю наизусть. Эту ночь собрали из опозданий, минута к минуте; всё, что у меня было против неё, — её же расписание. И газ в низине никуда не денется, и встречный войдёт в него со своей стороны — с моим краном или без. Пересдать этой ночи карты я мог. Прочитать новую сдачу — нет. Я стоял в тамбуре, вцепившись в холодный поручень, и считал стыки. За окном поплыли первые станционные фонари, редкие, в желтоватых нимбах мошкары, качнулась платформа, кто-то на ней в темноте поднял руку — то ли махал, то ли просто разминал плечо. Две минуты. Спрыгнуть, добежать до дежурного по станции. И сказать — что? То же, что проводнице. У дежурного связь и график, а против графика — босой пассажир с ночного поезда и слово «газ». Пока он дозвонится, пока там решатся остановить движение — если решатся, — двести одиннадцатый уйдёт в низину по своему расписанию, только без меня. Я досчитал до конца и остался у поручня. Дёрнуло, лягнуло по всей длине состава, фонари поползли назад, набирая ход, и снова пошёл лес. Теперь оставалось одиннадцать километров. * * * Колёса. Стыки. Та-там. Я считал их и не мог не считать. Чужие часы на чужой руке. Минутная стрелка подползала к часу — к тем четырнадцати минутам, которые я знал наперёд, до самого их белого конца. Через несколько вагонов отсюда спала Галка. Я мог пройти — тамбуры, двери, сонные проводники. И — что? Разбудить десятилетнюю девочку. Сказать ей — что? Таких слов не было. Ни в отчётах, ни в языке. К ней — или стоять здесь. Я остался. Впереди, в темноте, проступили два световых пятна. Встречный. Они росли. Сначала медленно, потом разом быстро. Прожектор двести двенадцатого — белый, режущий, — а за ним длинная цепочка жёлтых квадратов: окна, люди, дети, юг, море, отпуск, обратная дорога. Стоп-кран был в ладони от меня. Тормозной путь кончался в самой низине. Я смотрел, как сходятся два поезда, и ничего не мог сделать, кроме как смотреть. Воздух в тамбуре переменялся. Не запах даже — давление: что-то сладковатое и тяжёлое легло на язык, на гортань, на самый корень нёба. Я описывал это в отчётах казёнными словами. Я никогда этим не дышал. Где-то под насыпью, в невидимой чаше, лежал газ и ждал искру. Я знал, какую — знал из дела, на память, по выводам комиссии. Я только не знал, откуда она придёт: из-под колеса, из контактного провода, из тормоза. Через несколько секунд это уже не имело значения. Прожектор встречного ударил в окна. * * * Сначала — свет. Белый. Плоский. Без теней. Звук опоздал. Стекло перестало быть стеклом. Поручень перестал быть холодным — руки уже не было. И тамбура. И поезда. И — * * * — Не спится, дядь? Я открыл глаза. Вторая полка. Влажная простыня, хлорка, чужое тело. Подо мной — ровная железная тряска. Та-там, та-там. В торце вагона булькает титан. У окна напротив сидит долговязый мальчишка и чертит пальцем по запотевшему стеклу, и из сумки в проходе торчит обмотанная синей изолентой клюшка. Чужие часы показывали без двадцати двенадцать. — Душно. — Мальчишка не обернулся от окна. Я не мог разжать пальцы. В руке был билет — тот же, картонный, с заусенцем. В первый раз он лежал на столике, и я взял его сам. Теперь он был в руке. Расследователь во мне отметил это сухо, как несовпадение в показаниях. Двести одиннадцатый. Новосибирск — Адлер. Я был жив. Я снова сидел в этой минуте, целый, в чужом теле, и до Аши было минут двадцать, а за Ашой — одиннадцать километров, и эта минута уже была однажды. Я её прожил. Она кончилась белым. Я держал чужой билет чужими пальцами, и разум мой, привыкший

раскладывать любую катастрофу на причины и следствия, на узлы и звенья цепи, впервые за всю мою жизнь не находил ни причины, ни следствия — только эту тёплую душную минуту, без двадцати двенадцать, в которую меня вернуло, как возвращает на исходную сорванная и опущенная стрелка манометра. Мальчишка у окна опять чертил что-то своё по запотевшему стеклу, не зная, что я уже видел однажды, как он это чертит, и знаю, что станет с этим стеклом через полтора часа. И началась опять.

Глава 2

На этот раз я не стал тратить ни секунды на то, чтобы себе не верить. Без двадцати двенадцать. Чужое запястье, дешёвые часы на растянутом ремешке. Мальчишка у окна вёл пальцем по запотевшему низу стекла — тот же завиток, та же петля вниз. Сумка с ключкой стояла в проходе. В торце вагона титан набирал звук перед тем, как закипеть. Я знал, что он скажет, ещё прежде, чем он повернул голову. — Душно, — сказал мальчишка. — Сейчас Аша, постоим — продует. Слово в слово. Тот же наклон головы, тот же сонный голос. Я сидел и слушал, как с того света слушают запись собственного разговора, и считал удары в чужой груди — ровные, частые, живые. Это была не память. Память не повторяет интонацию. И не сон — во сне нельзя дважды наступить в один и тот же испуг и почувствовать его свежим. Это был круг. Я уже сидел в нём однажды и однажды из него вышел — через белое, в час четырнадцать. И снова в него вошёл, на ту же полку, в то же тело, к тому же мальчишке с ключкой. Я опустил глаза на свою — на его — ладонь. Обкусанный ноготь на большом пальце. Я не грыз ногтей сорок лет. Грыз кто-то другой, чьё лицо было теперь моим, и этот другой не знал, что едет в круг, из которого я не нашёл выхода. Вагон спал. С полки напротив свесилась чья-то рука — с часами, такими же дешёвыми, как мои теперешние. За перегородкой посапывали в два голоса, тонко и просто, а внизу, в такт стыкам, позвякивала ложечка в пустом стакане. Пахло углём от титана, старым бельём и дорогой. Обычная ночь дальнего поезда, каких у каждого здесь было по десятку. Никто из них не знал, что эта — не из их десятка. Я проверил круг единственным способом, какой у меня был, — собой. Поднял руку, которой час назад не поднимал, потёр чужую шершавую щёку, которую час назад не трогал. Мир не дрогнул. Мальчишка чертил своё. Титан булькал. Я не знал, заметит ли круг хоть что-нибудь из того, что я сделаю. Это и надо было проверить. Проверяют не рассуждением — я по работе не верил ни одной складной версии, пока не постоял на месте излома своими ногами. Постоять на месте здесь значило одно: встать и сломать этой ночи расписание. За окном проплыл и сгинул в чёрном лесу одинокий огонёк — переезд, будка, чья-то непогашенная за полночь лампа. Я уже видел этот огонёк, в прошлый круг, с этой же полки. Я увижу его и в следующий. Он будет гореть в этой ночи всегда, сколько бы раз она ни началась заново, — маленький, желтоватый. Терять мне было нечего. Совсем. Я уже всё потерял один раз — час назад и тридцать семь лет вперёд. Оставалось только то, что можно найти. Напоследок я снял чужие часы, завёл до упора и надел обратно. Движение пустое, зато своё: перед испытанием положено проверить приборы. Пружина взяла завод туго, до отказа — как будто эту ночь уже заводили без меня. * * * Я встал и пошёл в тамбур. Проводница сидела на том же откидном стуле, под той же лампой, и считала ту же пачку квитанций. Я уже знал каждое её слово. И всё равно сказал своё: — Остановите поезд. Сейчас. Не доезжая низины за Ашой. — Мужчина. — Она не подняла головы. — Я вам в тот раз то есть. Идите ложитесь. Она запнулась на «в тот раз» — и сама не поняла, обо что споткнулась. Я понял. Я повернулся к стене. Под красной табличкой, за стеклом, торчала ручка стоп-крана. Я знал, что это глупо. Знал как специалист: одиночный состав, ставший на перегоне без причины, — это не спасение, это новая графа в деле, которую потом будут разбирать другие. Но человек во мне уже не спрашивал специалиста. Человек просто хотел, чтобы эти колёса перестали катить детей в низину. Я разбил стекло локтем и рванул ручку вниз. Рукав на локте сразу отяжелел и прилип. Состав закричал. Весь, по всей длине — визг тормозов, лязг, удар буферов, и меня бросило на дверь. В вагоне посыпались с полок, заплакал ребёнок, кто-то выматерился спросонья. Поезд встал, перекосившись, в чёрном лесу, без огней снаружи, и в этой темноте было слышно, как впереди, далеко, идёт встречный — ровный нарастающий гул из-под Уфы. — Газ! — закричал я в вагон, во все лица разом. — Под насыпью газ! Выходите, бегите от путей, в гору, быстро! На меня смотрели. Десятки лиц, помятых сном, испуганных,

злых. И ни одно — я видел это, я читал это, как читаю показания, — ни одно не поверило. Они видели мужика в чужой майке, разбившего стекло и оравшего про газ, которого никто не чуял. Сумасшедшего. Пьяного. Беду — но не ту, о которой я кричал. Другую беду: меня. Женщина с боковой полки стремглаз к себе двоих ребятешек и заслонила их спиной — от меня. Я чуть не засмеялся в голос. Любое моё слово теперь било по мне же. — Ты чего творишь, а? — Грузный мужик в майке навис надо мной, дыша вчерашним. — Людей среди ночи детей перепугал, ирод. От него самого несло так, что хоть закусывай. Но пьяным здесь был я. Это уже решили — без меня и навсегда. Двое мужиков взяли меня за руки. Третий — сзади, за шею. Прибежал хмурый помощник машиниста с фонарём, прошёл вдоль состава, осветил под вагоны, в кусты, в чёрные деревья. Ничего. Запаха нет, огня нет, на путях пусто. Только псих в тамбуре. — Свяжитесь с диспетчером, — сказал я ему, как мог ровно, хотя меня держали за шею. — Пусть запросит давление на продуктопроводе. Оно упало с сорока атмосфер до двадцати пяти. Это утечка. Это можно проверить за пять минут. Помощник посмотрел на меня долго, устало, даже без злобы. По его лицу я видел, как это складывается: складный бред — а всё равно бред. — Куда я тебе позвоню? — Он даже голоса не повысил. — До поста селектор, и тот спит. — Лежи, мил человек, — сказал он почти ласково и махнул фонарём. — Доедем — сядим кому надо. Вот и вся проверка. — Газ ему мерещится, — сказал помощник мужикам, отдуваясь. — Держите пока. На следующей съёмем. Они отпустили тормоз. Состав дёрнулся, лягнул и пошёл — медленно, набирая ход. Пять минут стоянки ничего не решали, это я умел посчитать и без бумаги: облако лежало в низине на километры, и мы встретились бы с ним чуть дальше, только и всего. Свой состав из-под него было уже не увести. Останавливать надо было встречный, и не здесь — до низины. А до встречного мне было не докричаться. Меня держали за руки, и я больше не вырывался. Незачем. Отнятые минуты состав вернёт себе ещё до низины. Я смотрел в чёрное окно, где навстречу росли два световых пятна, и считал. Круг сорванного крана даже не заметил. * * * Гул навалился. Свет в стёкла. Чужая рука держит плечо. Сладко на языке. Пол — вверх. Рука на плече стала тяжёлой. И ничьей. * * * Без двадцати двенадцать. Я не пошёл в тамбур. Я сидел на полке, упёршись лбом в холодную стойку, и ждал, пока перестанут трястись чужие руки. Они тряслись долго. Я их не торопил. — Дядь, ты чего? — Мальчишка перегнулся через проход, заглянул мне в лицо снизу. Глаза у него были тёмные, тревожные, не по годам внимательные. — Белый весь. Плохо? — Плохо, — сказал я. Это была чистая правда. Он порылся в своей сумке, отодвинув клюшку, достал бутылку из-под лимонада, заткнутую газетной пробкой, и протянул мне: — На, вода. Тёплая только. — И, пока я пил: — Тебя укачало, что ли? С верхней по первости всех мутит. Ты ляг, легче станет. Вода и правда была тёплая, отдавала пробкой и сладким лимонадным духом. Я пил её чужим горлом и смотрел на мальчишку поверх горлышка. Он сидел, подобрав длинные ноги, в спортивных штанах с вытяннутыми коленками, и крутил в пальцах изоленту, отковыривал с краешка и снова приглаживал — руки со сбитыми костяшками не знали покоя, и нога под столиком ходила сама по себе. — Тебя как звать? — спросил я. — Сашка. — Он шмыгнул носом. — Александр вообще, но так никто не зовёт. — И, помолчав, с неловкой мальчишеской гордостью, которую не сумел спрятать: — Меня в том месяце в команду взяли. Младший на сборе. Все по семнадцать, я один с семьдесят третьего недотягиваю. Ну ничего. На юге докажу. — Докажешь, — сказал я. — А то. — Он улыбнулся, разом сделавшись младше, чем хотел казаться, и кивнул на тёмное окно. — Мамка провожала, редела. Я говорю, ну ты чего, я ж не на войну. На море еду. — Он покрутил изоленту. — Первый раз так далеко один. — Поесть-то она тебе собрала? — Ага, полсумки. Пирожки с яйцом. — Он потянулся к сумке, приподнял край. — Будешь? Да лан, бери, она на роту напекла. — Ешь сам. Тебе расти. — Мне все так и говорят: расти, Сашка, расти. Как маленькому. — Пирожки он доставать не стал, насупил для порядка и тут же забыл, о чём супился. — А клюшку чего с собой потащил? — спросил я, лишь бы он говорил ещё. Пока он говорил, он был живой. — На море-то с клюшкой. — Так это ж не простая. — Он

вытянул её из сумки до половины, бережно, показал обмотанную синей изолентой рукоять. — Мне Петрович свою отдал, тренер. Старую, какой сам играл. Сказал: к осени освоишь — будет совсем твоя. Я её под полку кладу на ночь, чтоб не свистнули. — Он застеснялся, затолкал клюшку обратно к стенке, поглубже. — Глупо, да. — Не глупо. Он поднял глаза — проверить, не смеюсь ли. Я не смеялся. — Все ржут. А мне без разницы. Я с ней в основу выйду, вот увидишь. — Он сказал это с такой простой уверенностью, что спорить было нельзя, да и не с чем. Я не увижу, подумал я. И ты не выйдешь. И Петрович зря отдал старую клюшку. — А ты сам-то куда, дядь? — спросил он. Я открыл рот — и понял, что не знаю. Не знаю, кто такой человек, в чьём теле я сижу. Куда он ехал, ждут ли его в Адлере, есть ли у него там жена, мать, работа, долги. Его жизнь молчала во мне наглухо: трубка тёплая, а на том конце — никого, ни звука, обрезанный провод. Я даже имени его не знал — знал номер вагона и места, а имени не знал. — По делу, — сказал я наугад. Дела есть у всех; на этом не споткнёшься. — А-а. — Он кивнул, успокоенный. В шестнадцать верят на слово — потому, наверное, он один в этом вагоне и не шарахнулся от меня. — Ты пей, не жалея, — сказал он, увидев, что я держу бутылку у колена. — В Аше постоим, сбегая на станцию, наберу свежей. У него в этой ночи было ещё полно дел — сбегать в Аше за водой, доехать до моря, дожить до осени, выйти в основу. Я допил тёплую воду до дна. Пустую бутылку я так и держал в ладонях, будто в ней ещё что-то оставалось, — и знал про него теперь главное. Что до моря он не доедет. И докажет только одно — что старая клюшка так и не станет совсем его. Я знал это про него уже дважды. Он рассказывал это заново, свежим голосом, не зная, что рассказывает покойнику о покойнике. Хотя нет — не дважды. В прошлый круг он не говорил про клюшку: я не спросил, и тренер Петрович так и не всплыл в той ночи ни разу, и старая клюшка сгорела безымянной. Каждый круг выходил чуть-чуть другим — ровно настолько, насколько другим в нём был я. С каждым кругом я узнавал больше — и от этого было не легче, а тяжелее, потому что нельзя оплакивать цифру, а человека, у которого есть тренер, клюшка и мать на челябинском перроне, — можно. * * * Их не спасти словом. Ни одного из них. Хоть разбей все стёкла в составе, хоть сорви все краны — я был для них опаснее газа. Газ они хотя бы не видели. Значит, не здесь. Я отдал Сашке пустую бутылку, и он сунул её обратно к клюшке, и спросил что-то ещё, а я уже не слышал. Я смотрел сквозь него, в тёмное окно, за которым в тридцати километрах отсюда дышала трещиной труба, а на станции, в духоте дежурки, сидел над графиком человек, у которого в руках были все эти жизни и который про это не знал. Вот к кому надо. Не к спящим в плацкарте. К тем, у кого рычаги. Дежурный диспетчер участка, который ведёт оба поезда по графику и может развести их, как пальцы. Оператор на перекачке за тридцать километров, который своими руками поднял подачу и своими же руками может её сбросить. Машинист встречного, которого довольно остановить за минуту до низины. Три-четыре человека на всю огромную ночь, и у каждого — своя рукоятка, свой телефон, своё право сказать «стой». Если бы я мог оказаться рядом хоть с одним из них — в его кителе, с его властью, а не здесь, в чужой майке, среди тех, кому помочь уже нельзя. Я не знал, как это сделать. Я был привязан к этой полке, к этому телу, к этим двум часам, которые всегда кончались одинаково. Но во мне сидел рабочий расчёт — тот, с которым я тридцать лет разбирал чужие катастрофы. Только разбирал я их всегда после. А эту мне дали — до. И снова. И снова. Кто дал и зачем — вопрос не по моей части. Моё дело — найти, где она ломается. — Сашка, — сказал я. — Спасибо за воду. — Да было б за что, — сказал он и снова занялся изолентой.

Глава 3

К рычагам я в тот круг так и не пошёл. Я понял, что не дойду вслепую: я не знал ни где на станции дежурка, ни как попасть в неё с идущего поезда, ни сколько у меня минут на самом деле. Катастрофу я знал по делу — снаружи, готовую, разобранную на причины и подшитую в папку. Изнутри, живую, по минутам — не знал совсем.

И тогда я занялся тем, что умею лучше всего на свете. Я стал её изучать.

Я снял с чужой руки часы и положил их перед собой на столик циферблатом вверх. Без двадцати двенадцать. Я заметил минуту, с которой всё начинается, и пошёл по составу — медленно, считая шаги, считая двери, запоминая, кто где спит. Круг давал мне то, чего не даёт ни одно расследование, — повтор: аварию, которую можно прокрутить заново, до последнего стыка под полом. Умирал в ней только я, и то ненадолго.

Первые круги я потратил на отчаяние — на стоп-краны, на сорванный голос, на попытки докричаться до спящих. Не сработало ни разу. Сколько их было, я уже сбился; счёт им я бросил тогда же, когда бросил верить, что выберусь, — и это, как ни странно, освободило руки. Осталось одно правило, единственное, какое тут работало, и я повторял его себе на ходу, между тамбурами: круг надо беречь. Один круг — одна задача, доведённая до конца. Этот был на карту, и я не позволял себе ничего, кроме карты.

Восьмой вагон — мой. Седьмой. Шестой. Я шёл к голове и вёл счёт: тамбур, гармошка перехода, холодный сквозняк между вагонами, снова духота. В пятом плакал во сне ребёнок, и мать качала его, не просыпаясь. В третьем кто-то курил в тамбуре, пряча папиросу в кулак. Я запоминал лица, чтобы потом, в следующих кругах, не тратить на них время. Каждое лицо я уже хоронил — заочно, по списку, тридцать семь лет назад. Теперь я подшивал их обратно, к живым, по одному.

И ловил себя на том, что мне почти спокойно. Расследователь во мне был дома. У него была задача с понятными входными: состав, время, расстояние под уклон, точка разъезда, — и он решал её, клетка за клеткой, не пуская к себе того, второго, который знал, кто спит в вагоне номер ноль. Так было легче. Так я и держался круг за кругом: пока считал, я не выл.

До головного я добрался за одиннадцать минут. Дальше хода не было: служебная дверь, обитая крашеным железом, с барашком замка на той стороне, за ней — почтовый, багажный, локомотив. Я постучал костяшками, коротко и деловито, как стучат свои. Подождал. Постучал ещё, сильнее, ребром кулака, так что заныла кость. За дверью ровно гудело железо и не отвечал никто. Стук растворялся в этом гуле, не долетая, — я мог колотить в неё до самой низины, и с той стороны это было бы тише комариного писка. Машинист вёл состав сквозь ночь, по графику, с лёгким опозданием, которого хватит, и не знал, что в восьмом вагоне к нему стучится человек, чьим словам здесь не поверит никто.

Я записал в голове: до бригады не достучаться. Вычеркнул. Пошёл назад.

* * *

В хвост я шёл дольше, чем к голове, — хвост был дальше и тяжелее.

За девятым вагоном начинались чужие, прицепные. Их подцепили в Челябинске, в ночь, перед самым отправлением, — два вагона, которые в это лето оказались не на своём месте и не в своём поезде. В схеме состава их не значилось; на них не хватило и номера — последний, хвостовой, шёл в бумагах нулём. Я толкнул дверь и вошёл в вагон номер ноль.

Здесь не спали так, как спят взрослые. Здесь спали дети — много, тесно, поперёк полок и валетом, свесив руки в проход, уронив головы на чужие плечи. Пахло вокзальными бутербродами, тёплым лимонадом, нагретой за день клеёнкой чемоданов. На верхней полке кто-то оставил недочитанной книжку, корешком вверх. Под потолком, в синем дежурном свете,

покачивались на верёвочках чьи-то выстиранные носки. У прохода, в ряд под нижней полкой, стояли сандалии — стоптанные, каши просят, поставленные носок к носку, чтобы утром не искать. Кто-то из малышей во сне сжимал в кулаке фантик, разгладить не успел, так и уснул. Всё в этом вагоне было приготовлено к утру, которого не будет.

Школа сто седьмая, ехала в лагерь под Адлером. И команда — те самые мальчишки по семнадцать, к которым месяц назад взяли младшего. Я узнал в углу спортивные сумки, поставленные одна на другую, и торчащие из них рукоятки — три, четыре, обмотанные изолентой. Сашкина была среди них, синяя. Сам Сашка спал в моём вагоне, в восьмом, через весь состав от своих, — потому что место ему выпало там, и он ещё не знал, что это его спасёт ровно на лишние восемь вагонов и ни на секунду дольше.

Я шёл по проходу медленно и смотрел в лица. Я искал одно.

Детское лицо во сне незащитно так, как не бывает незащитно взрослое. Каждое из этих лиц я уже однажды вычеркнул из числа живых — не своей волей, а прочитав цифру в старом деле: сто восемьдесят один ребёнок. Цифру легко нести. Её можно убрать в папку и закрыть папку. А лица убрать никуда нельзя. Нести их, все сразу, по тёмному вагону, в синем дежурном свете, оказалось тяжелее всего, что я носил в той, прошлой жизни, где имел дело только с цифрами.

Она спала у окна, на нижней, подложив ладошку под щеку. Лет десять. Тёмные волосы, заплетённые на ночь в косичку, уже растрепавшуюся. На спинке полки висел сложенный пионерский галстук — она сняла его, ложась, и повесила аккуратно, чтобы не помялся. Я стоял над ней и смотрел, и чужое сердце в моей груди делало что-то нехорошее, частое.

Галина Ремезова. Десять лет. Третья плита снизу, четвёртая слева.

Я представлял её себе много раз и всегда неправильно. На единственном снимке, что остался в семье, ей было года три, и она глядела в объектив исподлобья, сердито, и я почему-то думал, что такой она и осталась — сердитой трёхлетней девочкой на пожелтевшей фотографии в материнском альбоме. А она выросла. Она доросла до десяти, до косички, до галстука, который завтра опять понадобится, — она была твёрдо уверена, что понадобится. Она копила это завтра спокойно, не считая.

Я знал её всю жизнь — по серому камню, по двум словам отца, по пустому месту в семье, которое было раньше меня и которое меня, в общем-то, и сделало. И вот она спала передо мной, живая, тёплая, со сбитой косичкой и аккуратно повешенным галстуком, и дышала, и видела что-то во сне, и я не знал, как её зовут дома, ласково, и спросить было не у кого.

Она шевельнулась, не просыпаясь, и сказала тихо, в подушку, что-то про «ещё минуточку» — кому-то, кто будил её по утрам в той жизни, которой у неё не будет. Я отступил на шаг. Я приехал к ней на тридцать семь лет позже, и вот приехал на час раньше, и оба раза опоздал.

* * *

Правило этого круга я нарушил сам. Круг был на карту — а я стоял над спящей девочкой и терял минуты, которых не вернуть. В тамбуре вагона номер ноль я нашёл их тренера.

Он не спал — сидел у окна на откидном стуле, грузный, в тренировочной куртке, и курил в приоткрытую дверь, стряхивая пепел в ночь. Лет пятьдесят, тяжёлое лицо, свисток на шнурке поверх куртки. Человек, который ночью не спит, потому что под его рукой два десятка чужих детей.

— Не курится в вагоне, ребят бужу, — сказал он, не оборачиваясь, приняв меня за своего. Потом разглядел чужого и нахмурился. — Тебе чего, мужик? Заблудился? Это детский, проходи давай.

— Послушайте меня, — сказал я. И сказал прямо, без разгона, потому что обиняками тут не возьмёшь: — В Аше будет стоянка, две минуты. Высадите детей. Всех. Уведите от поезда,

в гору, подальше от путей. Через час за Ашой случится беда, и этот вагон — в самом конце, в самом низу. Я не могу объяснить откуда знаю. Но я знаю.

Он смотрел на меня долго. Докурил, бросил окуроч в темноту, проводил его взглядом до искры о насыпь.

— Беда, — повторил он негромко. — Какая беда?

— Взрыв. Газ под насыпью. Его не видно и почти не слышно, пока не рванёт.

Тренер встал. Он был ниже меня, но шире, и в нём была не злость — была тяжесть человека, который привык отвечать.

— Я этих пацанов из Челябинска везу, — сказал он. — Под мою роспись. Двадцать два человека плюс школьники. И ты предлагаешь мне поднять их среди ночи, в час, и высадить в лесу, на разъезде, где ни огня, ни крыши, — потому что тебе что-то известно? — Он покачал головой. — Я их в темноте в гору не поведу. Они там ноги переломают вернее, чем от любого твоего газа. Иди ложись, мужик. И слава богу, что не к моим подошёл с этим.

— Их утром не станет. — Я кивнул на дверь, за которой спали его пацаны. — Всех.

Он посмотрел на меня иначе — долго, снизу вверх, как смотрят на больного, которого нельзя злить. Тяжёлая рука легла мне на плечо, придавила, развернула к выходу — мягко, но так, что не поспоришь.

— Иди, — сказал он, и это было уже не зло, а почти жалость. — Иди, родимый. Намайлся. Дойдём до Уфы — там доктор, там разберутся. А сейчас ложись.

Поезд качнуло. За окном поплыли первые фонари Аши — редкие, тусклые, наперечёт. Тренер отвернулся к двери и стал смотреть на платформу, и я понял, что для него разговор кончился. Две минуты стоянки утекли в темноту вместе с фонарями. Лязгнуло, дёрнуло, состав пошёл — и потащил вагон номер ноль дальше, в самый конец, в самый низ.

Я не винил его. Он был прав во всём, кроме одного, и этого одного он знать не мог. Я бы на его месте поступил так же. Я и поступал. Сегодня сумасшедшим, которого правильно не послушали, был я.

* * *

Я вернулся в тамбур восьмого и стал у окна, с часами в руке.

Час ночи. Восемь минут. Девять. Я считал не для того уже, чтобы успеть, — успеть было нельзя, я это понял окончательно. Я считал, чтобы знать. Чтобы карта в моей голове стала точной до минуты, потому что только точная карта чего-нибудь стояла там, куда я ещё собирался добраться.

И карта складывалась. Я видел её всю, разом, как видишь чертёж: труба, дышащая трещиной в стороне; дежурный на перекачке, поднявший подачу; низина, копящая невидимое; диспетчер, ведущий два поезда в одну точку; искра в конце. Пять узлов, пять чужих решений, сошедшихся в одной географической яме в одну минуту. Ни одного из них нельзя было тронуть отсюда, из тамбура, чужими руками пассажира, которому не верят.

За стеклом текла ночь — чёрный лес, редкий столб с провисшим проводом, будка переезда без огня. Секундная стрелка на чужих часах шла ровно, по стеклу, не спеша, и каждый её оборот я знал наперёд. Час ночи, десять минут. Под полом стучали стыки, и я считал их вместе со стрелкой, как считают чётки, — не молясь, а чтобы руки были заняты. В вагоне за спиной кто-то во сне повернулся, скрипнула полка. Мать в пятом всё качала своё дитя. Поезд шёл в темноту по расписанию, которое я знал лучше машиниста, и это расписание вело его вниз.

Поезд пошёл под уклон — вагон осел под ногами, колёса застучали свободнее, под гору.

Воздух переменился. Сладковатое, тяжёлое, едва уловимое легло на язык, на корень нёба, и я узнал бы это из тысячи: углеводород, тяжёлая фракция, та самая. Не запах даже — намёк на запах, привкус, который человек спишет на духоту, на болото, на что угодно. Низина. Облако. Я въезжал в него по точному расписанию, и часы в моей руке показывали час одиннадцать. До

конца оставалось три минуты. Час четырнадцать — вот когда это кончится, я знал эту минуту, как знают собственный день рождения.

Карта была собрана. Полная, точная, до секунды — идеальное вскрытие катастрофы, которая ещё не случилась. И чем точнее она становилась, тем яснее проступало на ней одно белое пятно, которое расследователь обойти не мог. Все пять узлов лежали снаружи поезда. А я был внутри, заперт с этим знанием в одном вагоне, и оно годилось на всё, кроме того единственного, зачем оно было нужно.

И тут счёт сорвался. Я поймал себя на том, что третий раз пересчитываю одни и те же три минуты — и всякий раз сбиваюсь. Тот самый счёт, за которым я весь круг прятался, которым держал себя, — перестал складываться. Потому что нельзя картировать спящую десятилетнюю девочку с растрепавшейся косичкой. Нельзя подшить к делу недочитанную книжку, оставленную на полке корешком вверх. Карта была безупречна и бесполезна, а в самом её низу, в самой гиблой точке, спала Галя и видела свою последнюю минуточку.

А теперь расстояние схлопнулось. В самом низу чертежа лежал не «вагон номер ноль, прицепной, эпицентр». Там лежала девочка, которая копила завтра. И всё моё знание, вся точность до секунды годились ровно на одно: чтобы я знал заранее, поминутно, как именно её не спасу.

Я отвернулся от окна. Я больше не хотел знать. Я хотел сделать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.